ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог 5

1. Прабабушкин дневник 11
2. Пространство памяти 65
3. Черный ящик 102
4. Три медвежонка 129
5. Семь писем о лете 201
6. Код жизни 257
7. Семь писем о лете *(продолжение)* 278

Восьмое письмо *(вместо эпилога)* 336

ПРОЛОГ

Они читают и уходят
И всю дорогу говорят…
Эдуард Лимонов

Жара и лето. Старые и малые отправлены на дальнюю дачу, под сень дерев и струй. Морозилка забита ванночками со льдом и разнообразными полуфабрикатами — основой рациона временного холостяка. Все окна нараспашку — и интерьеры заполнены не столько свежестью, сколько уличным шумом. Верный Сепа (полное имя Синопсис), чересчур домашний не только для дальних поездок в деревню, но и для коротких прогулок по дворику даже на шлейке, растрепанной муфтой валяется на коврике у входной двери, натужно вдыхая чуть заметный сквознячок, и на обычные свои шалости, шкодства и заигрывания с хозяином решительно неспособен. Возле письменного стола жужжит и вращает забралом напольный вентилятор, а за столом восседает хозяин, облаченный в белую простыню и похожий на бородатое привидение, уставившись в монитор, самозабвенно лупит по клавишам, елозит и щелкает мышью. Творит, стало быть.

О, если бы так! Я бы и рад был творить, но… Жара и лето. Лето и жара. Мозги словно плавятся и невидимой патокой вытекают из ушей. Впрочем, честно говоря, дело, конечно, не в жаре, а в элементарной лени — ибо здесь, в квартире, просторность которой особенно

заметна в силу отсутствия большинства обитателей, божественно прохладно по сравнению с раскаленной добела улицей, где сам воздух, пропитанный гарью дальних торфяников, извивается ужом на сковородке.

Ища оправданий в происках небесной канцелярии, я гоняю бесконечный преферанс с привычными партнерами — ехидной старушенцией Гердой и бритоголовым детиной в бандане с черепами, откликающимся на имя Платон. Признаюсь, выбраны они были исключительно из-за того, что составитель программы обозначил их как «начинающих». В этой строчке еще был спаниель Споти, однако электронный лай, периодически издаваемый этим длинноухим существом, вгонял в неврастению моего Сепу, да и меня самого раздражал изрядно. Старушка же Герда звучала Шуманом и Шубертом, а Платон — любимым с детства «Дип Пеплом», к этому прибавим сентенции, вспыхивающие на экране после каждого сыгранного роббера: кулинарно-рукодельный совет от фрау Герды или стоический афоризм от вечно проигрывающего Платона.

В тот жаркий день середины лета я был, что называется, в ударе: суммарный мой выигрыш после одиннадцати пулек составил семь с половиной тысяч долларов. Когда б то были настоящие деньги, то тут уж я бы… Преисполненный нежнейших чувств к продувшимся в пух и прах партнерам, я аршинными буквами впечатал в диалоговую строку: «THANK YOU!!!», закрыл окошко с игрой и отправился на кухню покурить. За окном заметно потемнело, где-то вдали послышался раскат грома. Похоже, то, что я принимал за торфяную гарь, наплывающую на город с юга, оказалось-таки долгожданными грозовыми облаками. «Однако вскорости ливанет», — подумал я и тут же явственно ощутил легкий щелчок по виску. Должно быть, это напоминала о себе пробуждаю-

щаяся писательская совесть. А тучи за окном наплывали все ближе, вытесняя за горизонт всяческие оправдания затянувшемуся безделью.

Итак, о книге... При всем несомненном главенстве переплетающихся любовных линий задуманное мной повествование проходило скорее по ведомству фантастики. Судите сами — мой герой, юный мечтатель и поэт, отчаянно, до обморока и головокружений, влюблен в первую красавицу школы. Она же то приближает его к себе, то резко, жестоко отталкивает, причем не столько из коварного кокетства, так часто идущего рука об руку с девичьей красотой, сколько из доверчивого и некритичного отношения ко всякого рода сплетням и слухам. Наконец, преодолев робость, он назначает ей день для решительного объяснения. И вот, приближаясь к месту судьбоносной встречи, наш юноша едва не попадает под колеса стремительно несущегося автомобиля, за рулем которого он успевает разглядеть злейшего врага, циника и мерзавца, а рядом — беззаботно смеющуюся девушку своей мечты, еще не подозревающую, что эта поездка обернется для нее болью, бесчестьем, исковерканной судьбой... Есть и героиня — но отнюдь не та легкомысленная красавица, предмет испепеляющей страсти юного поэта. Нет, это девушка серьезная, глубокая, остронесовременная по всему своему человеческому устройству, тихо и безответно влюбленная в обаятельного вундеркинда-математика, в свои неполные восемнадцать имеющего уже докторскую степень. Но у математика есть невеста — яркая, бойкая и в высшей степени практичная особа, сумевшая выбить для своего суженого исследовательский грант в одной из крупнейших транснациональных корпораций. На шумной и веселой отвальной наша героиня (назовем ее Шурочка) не находит себе места от терзающих душу мрачных предчувствий. Проходит год,

другой. Дела у нашего математика идут блестяще, он руководит целым отделом, самый молодой в истории лауреат нескольких престижных международных премий, у него вилла на берегу океана, двое чудесных детишек, его избрание в совет директоров корпорации — дело лишь времени, причем ближайшего... Но в тот самый миг, когда в его офисе раздается долгожданный звонок президента, срабатывает часовая бомба, подложенная в портфель менее удачливым соперником...

И вот, оказавшись на самом пике молодого, острейшего отчаяния, наши герои — поэт-десятиклассник из 1971 года и третьекурсница из года 2011-го — невольно совершают одну и ту же последовательность действий в одном и том же «заветном» месте... И оказываются выброшенными из своей реальности в извилистые и бесконечные коридоры времени и, блуждая по странам и эпохам параллельного мира, находят друг друга и уже вместе приступают к отчаянным поискам той единственной точки пространства-времени, в которой возможно возвращение в наш мир и создание такого «эффекта бабочки», который даст шанс вернуть утраченную любовь и...

И заодно отблагодарить моих верных преферансных партнеров. Пусть будут увековечены не только в 3D-анимации, но и в печатном слове. Герда предстанет ворчливой, но бесконечно доброй пожилой феей — то ли Волшебницей-крестной из Шарля Перро, то ли своей же тезкой из сказки Андерсена, состарившейся на поприще спасения всех отмороженных Каев нашего мира... А Платон — что ж, пусть он будет лучшим другом нашего героя, отчаянным рокером-подпольщиком, чей чуждый образ жизни станет поперек горла обществу и государству, которые возьмутся прививать ему правильную систему жизненных ценностей посредством экспериментального курса лечения в клинике соответствующего профи-

ля. Лечение в итоге приведет к определенному сдвигу мозгов у пациента — правда, совсем не в ту сторону, на которую рассчитывали врачеватели. Социальной адекватности у Платона не прибавится нисколько, скорее наоборот, зато он обретет способность периодически проваливаться в те самые коридоры времени, по которым скитается его давно пропавший без вести школьный кореш в компании таинственной гостьи из будущего. Поначалу эти провалы — и возвращения в нашу действительность — будут происходить самопроизвольно, но постепенно Платон научится управлять процессами и станет тем самым связующим звеном между мирами, которое так необходимо нашим героям для осуществления своих планов. То есть, конечно, такой способностью будет обладать не один Платон, появится еще и Макс, толстый рыжий котяра, постоянный спутник феи Герды, умеющий существовать во всех мирах одновременно — но на роль связного он не подходит, ибо при всей своей трансцендентальности патологически ленив, к тому же абсолютно не склонен к разговорам с существами не своей породы, делая исключения только для своей хозяйки, и то крайне редко и в сугубо приватной обстановке. Надо ли объяснять, что этот хвостатый персонаж будет целиком и полностью списан с моего Сепы.

Вот, кстати, и он, легок на помине. Покинул свой дверной коврик и, тяжко повиливая на лету жирным задом, запрыгнул на подоконник. И смотрит. В наступившем полумраке его глазищи сияют двумя зелеными фарами. Шерсть вдоль хребта поднимается, как гребень динозавра, распушившийся хвост машет, как оглобля в руках Ильи Муромца. Сепа начинает часто-часто кряхтеть, вторя жирным шлепкам первых капель.

— Спокойствие, только спокойствие. — Я цитирую Карлсона и закрываю окно.

Сепа выразительно смотрит на меня, спрыгивает с подоконника, вальяжно подгребает к мисочке с кормом.

Я возвращаюсь к компьютеру, открываю папку «новая работа» и быстро набрасываю все, что надумал, стоя у кухонного окна в ожидании грозы. Перечитываю. Теперь самое время начать расписывать конспекты, придавать им объем и форму…

Но дальше первой фразы дело не пошло, причем получилась она деревянной, как нога капитана Копейкина, и корявой, как понты подгулявшего ларечника. Вторая же вообще умерла после слов «Утро выдалось…» После пяти минут бессмысленного смотрения в монитор стало ясно: это все. Как говорит в таких случаях моя мудрая, милосердная жена — «Не твой день». Но эта мысль, предназначенная для умиротворения, после сплошного месяца «не моих дней» порождала реакцию прямо противоположную.

И чтобы не метаться по комнате этаким медведем-шатуном, я вновь вышел на кухню и широко отворил окно. Гроза миновала, над лужами поднимался парок, посвежевшая трава отблескивала бриллиантовыми капельками, по ней носились радостное трио дворняг, определенно сбежавших из расположенных по соседству лабораторий мединститута. Полукруг широкой радуги в высшей своей точке пересекал вертикаль телевизионной башни, и было в этом что-то эмблематическое и почти нездешнее. А посреди двора, созерцая эту диковинную картину, застыл мой сосед, он же — старинный, с советских еще времен, приятель.

И я вспоминаю его рассказы, и вижу перед собой фотографии — и те, что он показывал мне в сопровождение своих историй, и те, что видел я в других местах, и те, что существуют лишь в моем воображении…

…Ключи от ворот в коридоры времени…

1.

ПРАБАБУШКИН ДНЕВНИК

От времени, времен и полувремени
Остался час на долгую прогулку
По узкому сквозному переулку
Между домов,
пригнувшихся под бременем
Ушедших лет…

Ина Близнецова

В мае травой прорастает будущее и проливается дождями прошлое, размывая границу времен.
И неодолимы силы притяженья…

Прабабушкина балеринка бисквитного фарфора, хрупкая и тонкорукая, купленная до войны еще в магазине на Большом проспекте, чудом уцелела. Семейное предание гласило, что она, обернутая вязаной шапкой, во время войны обитала в чемоданчике прабабушки Насти. С чемоданчиком прабабушка Настя разъезжала по госпиталям и фронтовым площадкам сначала на грузовике под парусиновым тентом, потом на автобусе с длинным радиатором.

Грузовик дребезжал и трясся, и назывался «Чертов бубен», и развалился в конце концов. Автобус же за свою диссонансную и патетическую музыкальность прозван был Ленинградской симфонией, но никаких политиче-

ских выводов из этого не последовало — автобус возил ленинградский детский танцевальный ансамбль. Дюжину чрезвычайно большеглазых по причине худобы подростков — вот фотография в старом самодельном плексигласовом ободе, рядом с балеринкой. Настя во втором ряду в середине. На стриженой голове — безобразный венок из бутафорских цветов. И никакой улыбки. Взгляд взрослый и усталый. Насте — шестнадцать.

Асе — шестнадцать.

Асе шестнадцать. И, хотя понимаю, что современные девушки выглядят по-другому, тем не менее, вот она, Ася,— худенькая и большеглазая. Густые короткие волосы в вечном беспорядке, всегда торчком. Если спрошу отчего, мне, боюсь, скажут: модно. А такого ответа я не люблю: в устах Аси это не ответ, это она вас на место ставит. А вот что люблю в Асе, так это майские веснушки на носу, майское небо в глазах. Что небо, что глаза меняют цвет по настроению — от бледноватой безоблачной молодой лазури до пасмурной и неопределенной повседневности. А то вдруг засветятся нежной зеленью свежей надежды.

Засветятся надеждой и предчувствием любви, как ни банально это звучит.

Ася моя сидит за дедовым старым, но удобным толстоногим письменным столом, перед нею настольная лампа под широким колпаком, фарфоровая балеринка — потемневшая и в трещинках, фотография в плексигласе и тетрадь, исписанная где чернилами, где карандашом. В тетради — любовь и разлука. В тетради — письма, которые никогда не прочтет адресат, потому что нет его на свете.

«Мишка, Мишка…»

Асе уже давно нравится это имя.

Мишка, Мишка. Может быть, ты никогда не прочтешь того, что я сейчас пишу. И других моих записей тоже. Но я все равно буду писать — для тебя. Мы встретимся, когда война кончится, и я, если ты еще не отвыкнешь жить без меня, если не разлюбишь, отдам тебе эту тетрадь, посвященную тебе. Я люблю тебя больше всего на свете. Ты мое дыхание и сердцебиение. Я живу ради встречи с тобой. Я думаю почти только о тебе одном, и иногда мне бывает стыдно, что только о тебе, ведь и мама осталась в Ленинграде, а я о ней забываю. Как-то вы там.

Мишка! Ты мне пишешь, как обещал? В мыслях я сочиняю твои письма ко мне. Там о любви и еще о многом. Помнишь, как мы ели мороженое — колесики в вафлях с именами, как бродили с тобой по улицам и по Фонтанке? И ты фотографировал меня на фоне решетки набережной и в скверике у цирка? А потом у Дворца пионеров? А потом — отдельно каждую — группы Клодта на Аничковом мосту, потому что, ты сказал, повезло: каждая освещена по-своему, из-за особенных рваных облаков, а характер в искусстве — это не только пластика, но и освещение. И потом шли мы, я — на хореографию, как всегда с опозданием, а ты — на фотодело.

А на хореографии Георгий Иосифович (ты помнишь? — Эдемский) каждый раз говорил: о, чудное мгновенье! Глазам не верю! Передо мной явились вы, Анастасия Афанасьева! Уж и не чаял! Переодевайтесь, примадонна вы моя, и работать, к станочку прошу!

Я быстро-быстро переодевалась и бегом — вторая позиция, плие, батман, полупальцы, шейку тянем, плечи опустить, руками дотянуться до неба…

До неба — это было смешно. До неба в лепнине и тонких трещинках.

Георгий Иосифович сейчас стал немножко другой, лысоватый, но все шутит. Говорит: я теперь не Эдемский, а Неедем-

ский, а еще лучше — Неедемский-Кочевников! Это потому что мы кочуем, выступаем то здесь, то там, едим чаще всего сухой паек, а у Георгия Иосифовича — желудок, ему нельзя сухомяткой, вот и не ест до горячего. Но оттого что не ест, ему еще хуже.

Мы все танцуем и репетируем. Тапочки уже не шьем — не из чего, нет полотна, занимаемся и танцуем в том, у кого что есть. Но обещали нам парусину от старых палаток, а лучше и быть ничего не может! Только тяжело, наверное, иголкой протыкать, все пальцы исколешь.

Один раз дядя Сережа, наш гармонист, водки напился и на середине концерта вдруг заснул. Так мы пели «Хороводную» и танцевали без музыки, под свое собственное пение. Но мы же не хор, мы — танцевальный коллектив. Георгий Иосифович за голову схватился и сказал: завывально-танцевальная труппа под руководством Неедемского-Кочевникова, нас подвергнут остракизму! Но нам сильно хлопали. Аплодировали. Георгий Иосифович сказал трагическим голосом: по ком аплодисменты? Но мы потом и «Как родная меня мать провожала…» пропели-протанцевали. И на бис.

А еще один раз вдруг ветер поднялся, прямо ураган, и листья летели стаями, и замело сцену прямо перед нашим выходом. И мы на листьях танцевали. Скользко было, жуть! Но весело — вихри из-под ног.

Только, Мишка, потом весь день и ночь тосковалось, будто что-то пропало навсегда… Лето пропало, как жизнь. Сентябрь, листья облетают. Если голову задрать, кажется, что небо осыпается. Что-то рано, или нет? А какое лето было жаркое, душное, суматошное и дымное…

Мы сейчас, Мишка, с тобой в последний класс пошли бы, и Катерина Петровна снова задала бы писать «Как я провел лето», и все должны были бы писать, что лето провели хорошо и в полезных занятиях. И Ленька Скворцов опять бы наврал, что жил у бабушки в деревне и помогал колхозникам

в поле, хотя все давно знают, что у Леньки одна бабушка инвалид и не ходит, а другая живет в Кронштадте. Какой там колхоз, спрашивается, матросский?

Мишка, надолго ли война? Все гадают. Хочу, чтобы кончилась раньше, чем выздоровеют раненые, перед которыми мы выступаем в госпиталях. Чтобы им не пришлось снова — туда… Некоторые — без ноги, без руки, а мы пред ними танцуем. Один совсем молодой, почти такой, как мы, плакал и бил костылем в землю. Его увели под руки, а я его серое лицо, наверное, навсегда запомнила. Серое от небритости, от боли, от слез и еще, думаю, от обиды. А мы танцевали.

Очень много грязи на войне. Непролазной нечеловеческой грязи.

Мишка, любимый. Встретимся ли? Ты мне пиши. Твоя Настя.

— Мишка, любимый, встретимся ли? — повторяет Ася.

Знаю Асю с рождения и многое могу предположить о ней. Например, то, что, читая военный дневник своей прабабушки Насти — Анастасии Александровны Афанасьевой, Ася полностью отождествляет себя с нею. Такая уж она, Ася, артистическая натура и, как раньше говорили, экзальтированная. А где экзальтация — божий дар, пожизненное вдохновение, — там и живая мистика, по-моему… Тем более что Ася полная тезка своей прабабушки, да и внешне очень похожа на нее.

Пожелаю, чтобы все осуществилось, Ася.

* * *

Чтобы не сложилось у вас об Асе ложного впечатления, добавлю к ее портрету следующее: как и все современные шестнадцатилетние девицы, существо она

непочтительное, брыкливое и компьютерозависимое. Но к чести ее отмечу, что читает она не только журнал «Лиза», корявые сообщения на форумах и прабабушкин дневник, но и книги. А также не брезгует справочными изданиями и словарями.

И висит над дедовым столом, за которым она обжилась, следующая назидательная выписка из словаря С. И. Ожегова, сделанная Асиной рукой: «Дом — это жилое помещение, в котором человек чувствует себя спокойно и свободно».

Дед уже отчаялся доказать любимой внучке, что он тоже человек и тоже желает чувствовать себя в доме спокойно и свободно. Но Настя (извините, Ася), как найдет на нее стих, сует веснушчатый свой нос в дедову комнату и заявляет:

— Деда, у меня тут важные дела. Иди со своими газетами в мои апартаменты. Иди давай.

— Опять спиритический сеанс, — ворчит догадливый дед себе под нос, но так, чтобы внучка не расслышала. Сворачивает в рулон подшивку, тянет с полки философский словарь, зачем-то сует в карман калькулятор и отправляется в Асин компьютерно-плюшево-плакатный уголок.

— Ничего не забыл? — ехидным голоском переспрашивает Ася.

— Нет-нет, — фальшивит дедушка.

— А мобильник? Раньше некоторые забывали очки, носовые платки, ручки и калькуляторы, записные книжки, не помню, что еще, а теперь мобильники? Прости, пожалуйста, дед, может, ты хочешь, чтобы именно я беседовала с твоей очередной присухой?

— Э-э… С чем, пардон? Что есть по-русски «присуха»?

— Ладно, с дамой сердца. В принципе, я могу, мне не в облом…

— Боже упаси, только не это, — бормочет многоопытный и многострадальный дед. Уже ясно, что его хитрость не удалась, и телефон отправляется в другой карман кардигана.

Дед исчезает, и Ася погружается в прошлое.

«Дом — это жилое помещение…» М-да.

…Мишка, как я хочу домой! В наш замок на площади Льва Толстого. Хочу снова поехать с тобой на американке до Двадцать Пятого Октября, дойти до Дворца пионеров и встретиться после занятий, и чтобы ты прищуривался и складывал пальцы кадром, ловя композицию, и рассказывал мне о фотоделе, о выдержке, о проявителях и прочей химии. И мне не будет скучно все это слушать. Снова хочу после уроков пойти с тобой в кино, в наш «Арс», все равно, на какую картину. И обещай мне, Мишка, что когда встретимся, ты покатаешь меня на лодке где-нибудь на островах, а я тебе помогу грести тяжелым веслом. И чтобы налетела гроза, хлынуло с неба, и мы бы босиком понеслись куда-нибудь прятаться. И спрятались бы — только вдвоем — в какой-нибудь всеми забытой заросшей диким вьюном беседке…

Еще хочу, чтобы ты смотрел на меня и не отводил взгляд. Смотрел и не отводил, чтобы сердце билось и жило. Я хочу, чтобы снова шло время на наших часах, на наших одинаковых громыхливых будильниках, и чтобы мы сверяли минуты, и договаривались, чтобы будильники звенели одновременно, и чтобы мы с тобой, разделенные этажами, знали, что сейчас одновременно нажмем кнопку, и наступит тишина, в которой мы по обещанию подумаем друг о друге. И сердца будут стучать одинаково — под ход часов: так-так, так-так...

Мишка, я хочу домой…

Жили они в одном доме на Петроградской стороне — в знаменитом доме Розенштейна, или, как его чаще на-

зывают, «доме с башнями». Но окна их выходили не на площадь Льва Толстого, бывшую Архиерейскую, а на тот кусочек проспекта Карла Либкнехта, бывшего Большого, что притаился за площадью и вел недалеко к речке Карповке, в тупик, к глухому берегу, заросшему сорной травой. В бурьяне вечно паслась коза и шастала детвора, охотясь на божьих коровок и в поисках простеньких приключений.

Речка Карповка, одна из дельтовых невских проток, не широка и не глубока, но имеет коварное свойство привольно разливаться по низине Петроградской стороны, когда осенью в Неву западный ветер надувает балтийской воды. Бывало, разливалась так, что на Кировском проспекте, бывшем Красных Зорь, бывшем Каменноостровском, смывало деревянное торцевое мощение. И потом, по схлынувшей воде, собирали шестигранные шашечки мощения и складывали пирамидками, чтобы рабочие снова могли замостить проспект.

Как-то размыло и трамвайные пути. И тогда Настя с Мишей, вместо того чтобы ехать на трамвайчике-американке, обязательно красном, отправились в долгий путь к Дворцу пионеров на свои любимые занятия: по Кировскому, потом через мост, оставляя позади Петропавловку, через Марсово поле, мимо Летнего сада и рыжего Инженерного замка через крутой мостик и дальше по Фонтанке до проспекта Двадцать Пятого Октября, бывшего Невского, до Аничкова моста. Эта нечаянная прогулка и положила начало их совместным блужданиям по городу. В блужданиях своих, продолжавшихся года полтора, они взрослели, и прежняя детская дружба — не разлей вода в ясноглазом доверчивом детстве и «тили-тили тесто» в пионерском звене — переросла в любовь…

В любовь. Пусть желторотую, едва оперившуюся и незаботливую, как молодая птица, но в любовь. И, конечно